А. И. Купринъ

НЕСЧАСТНАЯ МОЛЧАЛИВАЯ ВЪРА

ЦЪНА 10 СЕНТОВЪ.

Рабочее Книгоиздательство

1916 г.

MICHAEL Z. VINOKOUROFF

МОЛЧАНІЕ

Въ одну лунную майскую ночь, когда пъли соловы, въ кабинетъ къ о. Игнатію вошла его жена. Лицо ея выаржало страданіе, и маленькая лампочка дрожала въ ея рукахъ. Подойдя къ мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнувъ, сказала:

— Отейъ, пойдемъ къ Върочкъ!

Не поворачивая головы, о. Игнатій поверхъ очковъ исподлобья взглянулъ на попадью, и смотрѣлъ долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенькій диванъ.

- Какіе вы оба съ ней... безжалостные! выговорила она медленно съ сильнымъ удареніемъ на послѣднихъ слогахъ, и доброе пухлое лицо ея исказилось гримасой боли и ожесточенія, словно на лицѣ хотѣла она показать, какіе это жестокіе люди, мужъ ея и дочь.
- О. Игнатій усм'єхнулся и всталь, Закрывъ книгу, онъ сняль очки, положиль ихъ въ футляръ и задумался. Большая чреная борода, перевитая серебрянными нитями, красивымъ изгибомъ легла на грудь и медленно подымалась при глубокомъ дыханіи.

— Ну, пойдемъ! — сказалъ онъ.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающимъ, робкимъ голосомъ;

Только не брани ее, отецъ! Ты знаешь, какая она...

Комната Вѣры находилась въ мезонинѣ, и узенькая деревянная лѣстница гнулась и стонала подъ тя желыми шагами о. Игнатія. Высокій и грузный, онъ наклонилъ голову, чтобы не удариться о полъ верхняго этажа, и брезгливо морщился, когда бѣлая кофточка жены слегка задѣвала его лицо. Онъ зналъ, что ничего не выйдетъ изъ ихъ разговора съ Вѣрой.

— Чего это вы? — спросила Въра, поднимая одну обнаженную руку къ глазамъ. Другая рука лежала поверхъ бълаго лътняго одъяла и почти не отдълялась отъ него, такая она была бълая, прозрачная и

холодная.

 Вѣрочка... — начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вѣра! — сказалъ отецъ, стараясь смягчить свой сухой и твердый голосъ — Вѣра, скажи намъ, что съ тобою?

Вфра молчала.

— Вѣра, развѣ мы, твоя мать и я, не заслуживаемъ твоего довѣрія? Развѣ мы не любимъ тебя? И развѣ есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи намъ о твоемъ горѣ и, повѣрь мнѣ, человѣку старому и опытному, тебѣ будеть легче. Да и намъ. Посмотри на старуху-матъ, какъ она страдаетъ...

— Върочка!..

— И мнѣ... — сухой голосъ дрогнулъ, точно въ немъ что переломилось, — и мнѣ, думаешь, легко? Какъ будто не вижу я, что поѣдаетъ тебя какое-то горе... а какое? И я, твой отецъ, не знаю его. Развѣ должно такъ быть.?

Въра молчала. О Игнатій съ особенной осторожностью провель по своей бородъ, словно боялся, что пальцы противъ воли вопьются въ нее, и продлжал:

— Противъ моего желанія порхала ты въ Петербургъ, — развъ я прокляль тебя, ослушницу? Или денегъ тебъ не давалъ? Или, скажешь, не ласковъ быль я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербургъ-то твой?

О. Игнатій умолкъ, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное невъдомыхъ опасностей и чуждыхъ, равнодушныхъ людей. И тамъ, одинокая, слабая, была его Въра, и тамъ погубили ее. Злая ненависть къ страшному и непонятному городу поднялась въ душъ о. Игнатія, и гнъвъ противъ дочери, которая молчитъ, упорно молчитъ.

— Петербургъ здѣсь не при чемъ, — угрюмо сказала Вѣра и закрыла глаза. — —А со мной ничего

Идите-ка лучше спать, поздно.

— Върочка! — простонала мать. — Дочечка, да откройся ты мнъ!

— Ахъ, мама! — нетеривливо прервала ее Ввра.

О. Игнатій сълъ на стуль и засмъялся.

— Ну-съ, такъ, значитъ, ничего? — иронически

спросиль онъ.

- Отецъ, рѣзко сказала Вѣра, приподнимаясь на постели, ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но... Ну, такъ, скучно мнѣ немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда тамъ поговоримъ.
- 0. Игнатій порывисто всталь, такъ что стуль ударился о стіну, и взяль жену за руку.

— Пойдемъ!

— Вфрочка..

— Пойдемъ, говорю тебѣ! — крикнулъ о. Игнатій. — Если уже она Бога забыла, такъ мы-то!.. Что уже мы!

Почти насильно онъ вывелъ Ольгу Степановну, и, когда они спускались по лѣстницѣ, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злымъ шопотомъ:

— У-у Это ты, попъ, сдёдалъ ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и отвётишь. Ахъ, я не-

счастная...

И она заплакала, часто моргая глазами, не видя ступенекъ и такъ опуская ногу, словно внизу была пропасть, въ которую ей хотълось бы упасть.

Съ этого дня о. Игнатій пересталь говорить съ до-

черью, но она словно не замѣчала :того. По-прежнему она то лежала у себя въ комнатѣ, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рукъ глаза, какъ будто они были у нея засорены. И сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смѣхъ попадья робѣла и терялась, не зная, что говорить и что дѣлать.

Иногда Вѣра выходила гулять, Черезъ недѣлю послѣ разговора она вышла вечеромъ, по обыкновенію. Болѣе не видали ее живою, такъ какъ она въ этотъ вечеръ бросилась подъ поѣздъ, и поѣздъ пополамъ

перерѣзалъ ее.

Хоронилъ ее самъъ о. Игнатій. Жены въ церкви не было, такъ какъ при извъстіи о смерти Въры ее хватилъ ударъ. У нея отнялись ноги, руки и языкъ, и она неподвижно лежала въ полутемной комнатъ, пока рядомъ съ нею, на колокольнъ, перезванивали колокола. Она слышала какъ вышли всъ изъ церкви, какъ пъли противъ ихъ дома пъвчіе и старалась поднять руку, чтобы перекреститсья, но рука не повиновалась; хотъла сказать: прощай, Въра, — но языкъ лежалъ во рту громадный и тижелый. И поза ея была такъ спокойна, что если бы кто-нибудь взглянулъ на нее, то подумалъ бы, что этотъ человъкъ отдыхаетъ или спитъ. Только глаза ея были открыты.

Въ церкви на похоронахъ было много народу, знакомыхъ о. Игнатія и незнакомых, и всѣ собравшіеся жалѣли Вѣру, умершую такою ужасною смертью, и сарались въ движеніяхъ и голосѣ о. Игнатія найти признаки тяжелаго горя. Они не любили о. Игнатія за то, что онъ былъ въ обхожденіи суровъ и городъ, ненавидѣлъ грѣшниковъ и не прощалъ ихъ, а самъ въ то же время, завистливый и жадный, пользовался вся кимъ случаемъ, чтобы взять съ прихожанина лишнее. И всѣмъ хотѣлось видѣть его страдающимъ, слом леннымъ и сознающимъ, что онъ виновенъ дважды въ смерти дочери: какъ жестокій отецъ и дурной священнослужитель, не могущій уберечь отъ грѣха свою же плоть. И всѣ пытливо смотрѣли на него, а онъ, чувствуя направленые на его спину взгляды, стрался выпрамлять эту широкую и крѣпкую спину, и думаль не объъ умершей дочери, а о томъ, чтобы не уронить себя.

— Каленый попъ! — сказалъ, кивая на него, столяръ Карзеновъ, которому онъъ не отдалъ пяти руб-

лей за рамы.

И такъ, твердый и прямой, прошелъ о. Игнатій до кладбища и такой же вернулся назадъ. И только у дверей въ комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роса. Войдя со свѣту, онъ съ трудомъ могъ разсмотрѣть лицо жены, а когда разсмотрѣлъ, что оно совсѣмъ спокоѣно, и на глазахъ нътъ слезъ, то удивился. И не было въ глазахъ ни гнѣва, ни горя, — они были нѣмы и молчали тяжело, упорно, какъ и все тучное, безсильное тѣло, вдавившееся въ перину.

— Ну, что, какъ ты себя чувствуеть? — спро-

силь о. Игнатій.

Но уста были нѣмы; молчали и гдаза. О. Игнатій положиль руку на лобъ; онъ былъ холодный и влажный, и Ольга Степановна ничѣмъ не выразила, что она ощутила прикосновеніе. И когда рука о. Игнатія была имъ снята, на него смотрѣли, не мигая, два сѣрые глубокіе глаза, казавшіеся почти чрными отъ расширившихся зрачковъ, и въ нихъ не было ни печали, ни гнѣва.

— Ну, я пойду къ себъ, — сказалъ о. Игнатій, ко-

торому сдвлалось холодно и страшно.

Онъ прошелъ въ гостиную, гдв все было чисто и прибрано, какъ всегда, и одвтыя бвлыми чехлами высокія кресла стояли, точно мертвецы въ саванахъ. На одномъ окив висвла проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настья! — крикнуль о. Игнатій, и голось по-

казался ему грубымъ, и стало неловко, что онъ такъ громко кричитъ въ этихъ тихихъ комнатахъ, тотчасъ послѣ похоронъ дочери. — Настья! — тише позвалъ онъ, — гдѣ канарейка?

Кухарка, плакавшая такъ много, что носъ у нея распухъ и сталъ красный, какъ свекла, грубо отвъ-

тила:

— Извъстно, гдъ. Улетъла.

— Зачѣмъ выпустила? — грозно нахмурилъ брови о. Игнатій.

Настья расплакалась и, вытираясь концами ситстессию ченей ченей сильногом оленей — Душенька... барышнина... Развъ можно ее держать?

И. о. Игнатію показалось, что желтенькая веселая канарейка, півшая всегда ст наклоненной головкой, была дійствительно душою Віры, и что если бы она не улеабла, то нельзя было бы сказать, что Віра умерла. И онъ еще больше разсердился на кухарку и крикнуль:

— Вонъ! — и когда Настья не сразу попала въ

дверь, добавиль: — дура!

Со дня похоронъ въ маленькомъ домикъ наступило молчаніе. Это не была тишина, потому что тишиналишь отсутствіе звуковъ, а это было молчаніе, когда тв, кто молчить, казалось, могли бы говорить, но не хотять. Такъ думалъ о. Игнатій, когда входиль въ комнату жены и встрвчаль упорный взглуядь, такой тяжелый, словно весь воздухъ обращался въ свинецъ и давилъ на голову и спину. Такъ думалъ онъ, разсмотривая ноты дочери, въ которыхъ запечатлелся ея голосъ, ея книги и ея портретъ, большой, писанный красками портреъ, который она привезла съ собою изъ Петербурга. Въ разсматриваніи портрета у о. Игнатія установился изв'єстный порядокъ: сперва онъ глядиль на щеку, освещенную на портретв, и представляль себв на ней царапину, которая была на мертвой щекъ Въры, и происхождение которой онъ не могъ понять. И каждый разъ онъ задумывался о причинахъ если бы это задълъ повздъ, онъ раздробилъ бы всю голову, а голова мертвой Въры была совсъмъ невредима.

Быть можеть, ногой кти-нибудь задёль, когда под-

бирали трупъ, или нечаянно ногтемъ?

Но долго думать о подробностяхъ Въриной смерти было страшно, и о. Игнатій переходиль къ глазамъ портрета. Они были черные, красивые, съ длинными ръсницами, отъ которыхъ внизу лежала густая твнь, отчего бълки казались особенно яркими, и оба глаза точно были заключены въ черную, траурную рамку. Странное выражение придаль имъ неизвъстный, но талантливый художникь: какъ будто между глазами и тъм, на что они смотръли, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонкимъ, незамътным пластомъ налегла лътняя пыль, смигчая блескъ полированаго дерева. И какъ ни ставилъ портретъ о. Игнатій, глаза неотступно следили за нимъ, но не говорили, а молчали; молчание то быле такъ ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатій сталь думать, что онъ слышить молчаніе.

Каждое утро, послѣ обѣдни, о. Игнатій приходилъ въ гостиную, окидывалъ однимъ взглядомъ пустую клѣтку и всю знакомую обстановку комнаты, садился въ кресло, закрывалъ глаза и слушалъ, какъ молчитъ домъ. Это было странное что-то. Клѣтка молчала тихо и нѣжно, и чувствовались въ томъ молчаніи печаль и слезы, и далекій, умершій смѣхъ. Молчаніе жены, смягченное стѣнами, было упорно, тяжело, какъ свинецъ, и страшно, такъ страшно, что въ самый жаркій день о. Игнатію становилось холодно. Дол гимъ, холоднымъ, какъ могила, и загадочнымъ, какъ смерть, было молчаніе дочери. Словно самому себѣ было мучительно это молчаніе и страстно хотѣло перейти въ слово, но что-то сильное и тупое, какъ машина, держало его неподвижнымъ и вытягивало, какъ

проволоку. И гдъ-то, на далекомъ концъ, проволока начинала колебаться и звенъть тихо, робко и жалобно.

- О. Игнатій съ радостью и страхомъ ловилъ этотъ зарождающійся звукъ и, опершись руками о ручки грессать, вытянувъ голову впередъ, ждалъ, когда звукъ подойдетъ къ нему. Но звукъ обрывался и умолкалъ.
- Глупости! сердито говориль о. Игнатій и поднимался съ кресель, все еще прямой и высокій. Въ окно онъ видѣль залитую солнцемъ площадь, мощеную круглыми, ровными камнями, и напротивъ каменную стѣну длинаго, безъ оконъ, сарая. На углу стояль извозчикъ, похожій на глиняное изваяніе, и непонятно было, зачѣмъ онъ стоитъ здѣсь, когда по цѣлымъ часамъ не показывалось ни одного прохожаго.

Внѣ дома о. Игнатію приходилось говорить много: съ причтомъ и съ прихожанами, при исполнени требъ, и иногда съ знакомыми, гдѣ онъ игралъ въ преферансъ; но когда онъ возвращался домой, онъ думалъ, что онъ весь день молчалъ. Это происходило оттого, что ни съ кѣмъ изъ людей о. Игнатій не могъ говорить о томъ, главномъ и самомъ для него важномъ, о чемъ онъ размышлялъ каждую ночь: отчето умерла Вѣра?

О. Игнатій не хотѣлъ понять, что теперь этого узнать нельзя, и думалъ, что узнать еще можно. Каждую ночь — а онѣ всѣ теперь стали у него безсонными — представлялъ онъ себѣ ту минуту, комда онъ и попадья, въ глухую полночь, стояли у кровати Вѣры, и онъ просилъ ее: «Скажи!» И когда въ воспоминаніяхъ онъ доходилъ до этого слова, дальнѣйшее представлялось ему не такъ, какъ оно было. Закрытые глаза его, сохранившіе въ воемъ мракѣ живую, не тускнѣющую картину той ночи, видѣли, какъ Вѣра поднимается на своей постели, улыбается и говорить.

Но что она говорить? И это невысказанное слово Вфры, которое должно разрёшить все, казалось такъ близко, что если отогнуть ухо и задержать біеніе серд ца, то вотъ-вотъ услышишь его, и въ то же время такъ безконечно, такъ безнадежно далеко. О. Игнатій вставалъ съ постели, протягивалъ впередъ сложенныя руки и, потрясая ими, просил:

— Вѣра!..

И отвѣтомъ ему было молчаніе.

Однажды вечеромъ о. Игнатій пришелъ въ комнату Ольги Степановны, у которой онъ не былъ уже около недёли, сёлъ у ея изголовья и, отвернувшись отъ упорнаго, тяжелаго взгляда, сказалъ:

— Мать! Я хочу поговорить съ тобою о Въръ. Ты

слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатій, возвысивъ голосъ, заговорилъ строго и властно, какъ онъ говорилъ съ ис-

повъдующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я быль причиной Въ риной смерти. Но подумай, развъ я любилъ ее меньше, чъмъ ты? Странно ты разсуждаешь... Я былъ строгъ, а развъ это мъшало ей дълать, что она хочетъ Я пренебрегъ достоинствомъ отца, я смиренно согнулъ свою шею, когда она не побоялась моего проклятія и поъхала... туда. А ты, — ты-то не просила ее оставаться и не плакала, старая, пока я не велълъ замолчать? Развъ я родилъ ее такой жестокой? Не твердилъ я ей о Богъ, о смиреніи, о любви?

О. Игнатій быстро взглянуль въ глаза жены — и

отвернулся.

— Что я могъ сдълать съ ней, если она не хотъла открыть своего горя? Приказывать —я приказываль; просить—я просиль. Что-же, по твоему, я долженъ былъ стать на колъни передъ дъвчонкой, и плакать, какъ старая баба! Въ головъ... откуда я знаю, что у нея въ головъ! Жестокая, безсердечная дочь!

О. Игнатій удариль кулакомь по колену.

— Любви у нея не было — вотъ что! Что уже про меня говорить, ужъ я, извъстно... тиранъ... Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала... да унижалась?

О. Игнатій беззвучно разсмівялся.

— Лю-юбила! То-то, въ утвшеніе тебв и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть: Умерла на нескв, въ грязи... какъ с-собака, которую нэгами въ морду ткаютъ.

Голосъ о. Игнатія зазвучаль тихо и хрипло.

— Стыдно мнв! На улицу вйыти стыдно! Изъ алта ря выйти стыдно! Передъ Богомъ стыдно! Жестская, недостойная дочь! Въ гробу проклясть бы тебя...

Когда о. Игнатій взглянуль на жену, она была безъ чувствь, и пришла въ себя только черезъ нъсколько часовъ. И когда пришла, глаза ея молчали, и нельзя было понять, помнить она, что говориль ей о. Игнат.й. или нътъ.

Въ ту же ночь — это была іюльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная — о. Игнатій на цыпочкахъ чтобы не услыхали жена и сидълка, поднялся по лестнице и вошель въ комнату Веры. Окно въ мезонинъ не открывалось съ самой смерти Въры, и водухъ быль сухой и жаркій, съ легкимъ запахомъ гари отъ накалившейся за день желтзной крыши-Чъмъ-то нежилымъ и заброшеннымъ въяло отъ помъщенія, въ которомъ такъ давно отсутствоваль человъкъ, и гдъ дерево стънъ мебель и другіе предметы издавали тонкій запахъ непрерывнаго тлінія. Лунный свъть яркой полосой падаль на окно и на поль и, отраженный отъ бёлыхъ тщательно вымытыхъ досокъ, сумеречнымъ полусвътомъ озарялъ углы, и бълая чистая кровать съ двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатій открыль окно — и въ комнату широкой струей влился свёжій воздухъ, пахнущій пылью, недалекой

рѣкой и цвѣущей липой, и еле слышное донеслось хоровое пѣніе: вѣроятно, катались въ лодкѣ и пѣли. Неслышно ступая босыми ногами, похожій на бѣлый призракъ, о. Игнатій подошелъ къ пустой постели, подогнуль колѣни и упаль лицомъ внизъ на подушки, обнявъ ихъ, — туда, гдѣ должно было находиться Вѣрино лицо. Онъ долго лежалъ такъ, пѣсня стала громче и потомъ, упомкла, а онъ все лежалъ, и длинные черные волосы разсыпались по плечамъ и постели.

Луна передвинулась и въ комнату стало темнѣе, когда о. Игнатій подняль голову и зашепталь, вкладывая въ голосъ всю силу долго сдерживаемой и долго не сознаваемой любви и вслушиваясь въ свои слова такъ, какъ будто слушаль не онъ, а Вѣра.

— Дочь моя, Въра! Ты понимаешь, что это значитъ: дочь? Доченька! Сердце мое и кровье моя, и жизнь моя. Твой старый.... старенькій отецъ, уже съ-

дой, уже слабый...

Плечи о Игнатія задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатій шепталь

нъжно, какъ маленькому ребенку.

— Старенькій отець... просить тебя. Ніть, Вірочка, умоляеть. Онъ плачеть. Онъ никогда не плакаль. Твое горе, діточка, твои страданія— они и мои. Вольше, чімь мои.

О. Игнатій покачаль головой.

А ты... Вёдь если бы ты знала, какая ты нёжная и слабая, и робкая! Помнишь, какъ ты поколола паль-

— Больше, Върочка. Ну, что мнъ, старому смерть? чикъ, и кровь капнула, и ты заплакала? Дъточка моя! И ты въдь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты цълуешь мою руку. Скажи, скажи, о чемъ тоскуетъ твоя головка, и я — вотъ этими руками — я удушу твое горе. Онъ еще сильныя, Въра, эти руки.

Волосы о. Игнатія встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатій впился глазами въ стѣну и протянулъ руки.

- Скажи!

Въ комнатъ было тихо, и изъ глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свистокъ паровоза.

О. Игнаій, поводя кругомт расширившимися глазами, точно передъ ними цсталъ страшный призракъ изуродованнаго трупа, медленяю приподиялся съ колѣнъ и невърнымъ движеніемъ поднесъ къ головъ руку съ растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступивъ къ двери, о. Игнатій отрывисто шепнулъ:

— Скажи! И отвътомъ ему было молчане.

На другой день, после ранняго и одинокаго обеда о. Игнатій пошель на кладбище — въ первый разъ после смерти дочери. Было жарке, безлюдно и тихо, какъ будто этотъ жаркій день быль только освещенною ночью, но, по привычке, о. Игнатій старательно выпрямлямъ спину, зурово смотрёль пе сторонамъ и думаль, что онъ все такой же, какъ прежде; онъ не замёчаль ни новой и стращной слабости въ ногахъ, ни того, что длинная борода его стала совсемъ белой, словно жестскій морозъ удариль на нее. Дорога къ кладбищу пела по длинной, прямой улиць, слегка ноднимавшейся вверхъ, и въ конце ея облела арка кладбищетскихъ ворогъ, похожая на черный, вёчно сткрытый ротъ, окайм сетный блестящими зубами.

Могила Вода нахольнаев вы глубиев кладбища, гдв кончасть усыти нала основы дорожки и о. Игнатію долго пригозов пута зала вы узепькихы тропинкахь, ломогой линую из ходившихы между зеленыхы бугорковы всёми забылыхы и всёми покину-

ыхъ. Мъстами попадались покосившеся, позеленъвшіе от старости памятники, изломанныя рівшетки и большіе, тяжелые камни, вросшіе въ землю и съ какой-то угрюмой старческой злобой давившіе ее. Къ одному изъ такихъ камней прижималась могила Въры. Она была покрыта новымъ пожелтъвшимъ аедномъ, но кругомъ нея все зеленало. Глойна обнялась съ кленомъ, а широко разкинувшийся кустъ оржиника протягиваль надъ могилой свои гибкія в'ятви съ пушистыми, шершавыми листьями. Усвинись на сосвинюю могилу и передохнувь о. Игнатій оглянулся кругомъ, бросилъ взглядъ, безоблачное пустынное небо, гдъ въ полной неподвижности висъл раскаленный солненый дискъ, и тутъ только ощутилъ ту глубокую, ни съ чемъ несравнимую тишину, какая царитъ на клад бищахъ, когда нътъ вътра, и не шумитъ омертвъвшая листва. И снова о. Игнатію пришла мысль, что это не тишина, а молчаніе. Оно разливалось до самыхъ кирпичныхъ стънъ кладбища, тяжело переползало черезъ нихъ и затопляло городъ. И конецъ ему только тамъ — въ сфрыхъ, упрямо и упорчо молчашихъ глазахъ.

О. Игнатій передернуль похолодівшими плечами и опустиль глаза внизъ, на могилу Въры. Онъ долго смотрѣлъ на пожелтѣвшіе коротенькіе стебли травы, вырванной съ землею откуда-нибудь съ широкаго, обвъваемаго вътромъ поля и не успъвшей сродниться съ чуждой почвой, и не могъ представить, что тамъ, подъ этой травой, въ двухъ аршинахъ отъ него. лежитъ Въра. И эта близость казалась непостижимою и вносила въ душу смущение и странную тревогу. Та, о котрой о. Игнатій привыкъ думать, какъ о нав'яки исчезнувшей въ темныхъ глубинахъ безконечнаго, была здёсь, возлё... и трудно было понять, что ея всетаки нътъ и никогда не будетъ. И о. Игнатію чудилось, что если онъ скажеть какое-то слово, которое онъ почти ощущаль на своихъ устахъ, или сдъластъ какое-то движеніе, Въра выйдеть изъ могилы и встанетъ такая же высокая, красивая, какою была. И не только одна она встанетъ, но встанутъ и всё мертвецы, которые такъ страшно ощутимы въ своемъ торжественно-холодномъ молчаніи.

О. Игнатій сняль широкополую черную шляпу, рас-

правиль волнистые волосы и шепотом сказаль:

— Вѣра! -

Ему стало неловко, что его можетъ услышать ктонибудь посторонній, и, вставъ на могилу, о. Игнатій взглянуль поверхъ крестовъ. Никого не было, и онъ уже громко повторилъ:

- Bipa!

Это был старый голосъ о. Игнатія, сухой и требовательный, и странно было, что съ такою силою высказанное требованіе остается безъ отв'ята.

— Вѣра!

Громко и настойчиво зваль голось, и, когда онь умолкаль, съ минуту чудилось, что гдь-то внизу звучаль неясный отвъть. И. о. Игнатій, еще разъ оглянувшись кругомъ отстраниль волосы отъ уха и прилегъ имъ къ жесткому, колючему дерну.

— Вѣра, скажи!

И съ ужасомъ почувствовалъ о. Игнатій, что въ ухо его вливается что-то могильно холодное и студить мозгъ, и что Въра говоритъ, — но говоритъ она все тъмъ же долгимъ молчанівімъ. Все тревожнъе и страш нъе становится оно, и когда о. Игнатій съ силіемъ отдираеть оть земли голову, блёдную, какъ у мертвеца, ему кажется, что весь воздухъ дрожитъ и трепешетъ отъ гулкаго молчанія, словно на этомъ страшномъ морѣ поднялась дикая буря. Молчаніе душитъ его: оно ледяными волнами перекатывается черезъ его голову и шевелить волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую подъ ударами. Дрожа всёмъ тёломъ, бросая по сторонамъ острые и внезапные взгляды, о. Игнатій медленно поднимается и долгимъ, мучительнымъ усиліемъ старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему тълу. И это удается ему. Съ намъренной медлительностью о. Игнатій отряхиваетъ колъни, надъваетъ шляпу, трижды креститъ могилу и идетъ ровною, твердою поступью, но не узнаетъ знакомаго кладбища и теряетъ дорогу.

— Заблудился! усмъхается о. Игнатій и останав-

ливается на развѣтвленіи тропинокъ

Но стоить онь одну секунду и, не думая, свораиваеть нальво, потому то жлать и стоять нельзя. Молчаніе гонить. Оно поднимается отъ зеленыхъ могиль: имъ дышатъ угрюмые стрые кресты, тонкими, удушающими струями оно выходить изъ всёхъ поръ земли, насыщенной трупами. Все быстръе становятся шаги о. гнатія. Оглушенный, онъ кружится по однъмъ и темъ же дорожкамъ, перескакиваетъ могилы, натыкается на решетки, цепляется руками за колючіе жестяные вънки, и рвется клочьями мягкая матерія. Только одна мысль о выход' осталась въ его голов'. Изъ стороны въ сторону мечется онъ и, наконецъ, безшумно бъжить, высокій и необыкновенный въ развъвающейся рясь и съ плывущими по воздуху волосами. Сильнъе, чъмъ самого всавшаго изъ гроба мертвеца, испугался бы всякій, встрѣтивъ эту дикую фигуру бъгущаго, прыгающаго и размахивающаго руками человъка, увидъвъ его перекосившесся безумное лицо, услыхавъ глухой хрипъ, выходившій изъ его открытаго рта.

оС всего разбѣгу о. Игнатій выскочиль на площадку, въ концѣ которой бѣлѣла невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавкѣ дремаль стариіокъ, по виду, дальній богомолецъ, и возлѣ него, наскакивая другъ на друга, спорили и бранились двѣ старухи-нищенки.

Когда о. Игнатій подходиль къ дому, уже потемнівло, и въ комнаті Ольги Степановны горівль огонь. Не раздіваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный о. Игнатій быстро прошель къ жені и упаль на колівни.

— Мать... Оля... пожальй же меня! —рыдаль онъ.

— Я съ ума схожу.

И онъ бился головой окрай стола и рыдал бурно, мучительно, какъ человъкъ, которылй никогда не плачеть. И онъ поднялъ голову, увъренный, что сейчасъ совершится чудо, и жена заговоритъ и пожалъетъ его.

— Родная!

Всѣмъ большимъ тѣломъ потянулся онъ къ женѣ — и встрѣтилъ взглядъ сѣрыхъ глазъ. Въ нихъ не было ни сожалѣнія, ни гнѣва. Быть можетъ, жена прощала и жалѣла его, но въ глазахъ не было ни жалести, ни прощенія. Они были нѣмы и молчали.

И молчалъ весь темный опуствиній домъ.

EX LIBRIS MICHAEL Z. VINOKOUROFF



